



## КАК ЖИЗНЬ

Если русский писатель называет себя уменьшительно (но не ласкательно, это уже перебор), — у этого обычно есть глубокий смысл. Саша Соколов хотел, видимо, сломить официальность советской литературы и одновременно подчеркнуть несерьезность собственного к себе отношения, а также укорененность в детстве. Заметим, что ни Эдичка, ни Веничка нигде, кроме текста, так себя не называли и воспринимали себя как раз серьезно, если не трагически. Катя Капович своим литературным именем намекает на отсутствие пафоса, на интимность контакта с читателем (а обращается она прежде всего к ровеснику или по крайней мере к человеку сходного опыта), а также на скудость и бедность человеческой жизни, так что не с чего и пыжиться. Дмитрий Александрович Пригов, целенаправленно выстраивая образ лирического героя — маленького человека, бессильного перед Милицанером, — до последнего отстаивал хотя бы право называться по имени-отчеству. В стихах Кати Капович, формировавшейся в самой что ни на есть диссидентской среде, никакого противостояния режиму не просматривается: конечно, она позволяет себе называть вещи своими име-

нами, но никакой надежды на перемены у нее нет, а достоинство... ну какое там особенное достоинство, когда все смертно, а при жизни крайне уязвимы? Достоинство в том, чтобы в этой ситуации прилично себя вести, а не в том, чтобы ее менять. Катя Капович много раз меняла свою биографию — переезжала то в Сибирь из Кишинева, то в Москву, то в Израиль, то в Бостон, — и поняла, что все эти переезды не означают перемены участи. Выживать приходится везде, погода более-менее одна и та же, разве что в Иерусалиме человек чаще страдает от жары, а в Бостоне от холода. Катю Капович интересует героизм человеческой участи как таковой, а он везде одинаков. Есть даже теория, что ее нарочито бедная, а то и небрежная рифма тоже выражает бедность (и небрежность) всякой судьбы, — но тут уж, я думаю, дело в другом: Капович пишет так давно, а начинала так сильно, что она может позволить себе истинную виртуозность, то есть отсутствие всякой виртуозности. Позировать перед читателем ей совершенно незачем, ей дорог живой контакт с собеседником, она и выступает так — без кокетства и застенчивости, как читают в дружеских компаниях, в мастерских или в больших эмигрантских квартирах. Читатель немедленно понимает, что все свои и демонстрировать литературную эрудицию — это отсылка туда-то, а это аллюзия на то-то, — тут необязательна. Все свои, потому что всякая

жизнь трудна, удачи в ней скорей праздник и чудо, чем закономерный результат трудов, а любовь должна либо базироваться на взаимопонимании (то есть на общем страдании), либо становится унижением и пыткой. Эмоциональная точность — главное достоинство поэзии Капович; точность реалий, цепкость памяти в таких случаях предполагаются автоматически. Контекст, близкие авторы, поколение — это советские семидесятые, прежде всего «Московское время» (скорее Величанский, чем Гандлевский, скорее Кенжеев, чем Цветков), Денис Новиков, который был младше, но принадлежал именно к этому кругу, Олег Хлебников, который жил хоть и в Ижевске, но по «Московскому времени» — и в плане поэтики похож на Капович больше всех, особенно поздний; это и ее муж Филипп Николаев, который со временем стал больше писать, чем переводить; это и Алексей Дидуров, который был постарше, но что-то было в его отношении к себе и друзьям, что сходно с трагическим смирением Капович. Если брать женскую поэзию тех лет, хотя гендерные различия для Кати Капович мало значат и о любви она пишет крайне сдержанно и скупое, — это Инна Кабыш и Виктория Иноземцева (Кабыш почему-то считают поэтом трагического надрыва, но у нее как раз больше иронии, мужества, трезвости). Катя Капович принадлежит к той же традиции, которую ярче всех в России и за

границей манифестировал Лев Лосев, лучший друг Бродского и главный его оппонент, только мало кто это понимал. Бродский, может быть, понимал — но он Лосева уважал как старшего, и ему прощалось. А ведь жестоко сказано — «Иосиф, брось свои котурны, зачем они, е... м..., ведь мы не так уж некультурны, чтобы без них не понимать». Не зря именно Лосев заметил Капович и благословил, когда она уже переехала в Штаты.

Ее поэзия полна любви, сострадания, даже умиления, хотя говорить обо всем этом очень пошло, и она почти не говорит — у нее все в интонации. От присутствия Кати Капович на свете и в литературе делается легче, а это и есть задача поэта. Нас кто-нибудь должен любить, и от нас что-то должно остаться. Над этим она и работает сорок лет, и лучшие результаты этой работы перед вами. Сегодня мало кто может похвастаться таким количеством и качеством написанного, она пишет почти каждый день, но жить ведь тоже приходится ежедневно, а не тогда, когда есть настроение, вдохновение или материальный стимул. На этом противоречии многое держится в поэзии Капович.

Вообще же — для примера — вот не самый яркий и даже не самый удачный образец, первое, на что упал взгляд:

По выходным в глухом местечке  
соседний инвалидный дом  
автобусом вывозят к речке,  
заросшей пыльным камышом.

И там они в своих колясках  
сидят в безлиственном лесу,  
как редкий ряд глухих согласных,  
пока их вновь не увезут.

С годами лет я тоже тронусь  
умом и сяду у реки,  
чтоб в пустоту смотреть, готовясь  
к зиме, как эти старики.

И выйдет радуга из тучи  
после осеннего дождя.  
И скажет санитар могучий:  
пора, родимая, пора.

Разумеется, как и в большинстве стихотворений Капович, тут намеренно ослабленная концовка, но в жизни тоже почти всегда так. «Расклон под занавес остался в серебряном веке», — говорила Нонна Слепакова. Вообще все как в жизни, и сборник мог бы называться «Как жизнь» — и точно, и смешно, и без понтов.

*Дмитрий Быков*

И, шагнув на шаткий мостик,  
Поклянёмся только в том,  
Что ни зависти, ни злости,  
Мы на небо не возьмём.

*В. Шаламов*

 ПЕРВАЯ  
ЧАСТЬ



\* \* \*

Я родилась, когда мне было три,  
нашедши краба под приморским камнем.  
Он мёртвый был, смотрели изнутри  
его глаза с холодным пониманьем.

Я думала: он снова оживёт,  
и полила его водой из лейки,  
но панцирь, как спасательный жилет,  
оранжевым блеснув, померк навеки.

Трусы в намокшей тине, вьётся гнус,  
в песке моя остриженная репа.  
Я буду жить, и я не оглянусь  
туда, где он лежит и смотрит в небо.

\* \* \*

Русского вечный винительный, дательный,  
обществоведенье — приступ тоски,  
справа полощется флаг обязательный,  
а в переменах полощут мозги.

Там, между рыбами и между рифами,  
между соцветьями дольных цветов,  
между двумя даже голыми рифмами  
ярче гори, половая любовь!

Тройкой лети по плохим сочинениям,  
лебедем-двойкой уроков труда,  
но в геометрии я была гением  
линий, ведущих куда-то туда.

\* \* \*

На крыльце областного  
овощного сырого  
магазина старуха  
лист капустный нашла.  
Сигарета потухла,  
и дождя оплеуха  
с подбородка текла.

Уходя, оглянуться  
на морковь и картофель,  
кликнуть мышь, и спасутся  
эти грузчики в профиль,  
и старуха с железной  
коронкой во рту —  
там, где в памяти тесно,  
как в капустном ряду.

## КИНО

Люблю полдневное кино,  
в которое никто не ходит,  
попкорна белое кило,  
и ничего не происходит.

Светло струится странный луч,  
отпущенный из аппарата, —  
вот так, измучившись, из туч  
выходит солнце к веткам сада.

Наверно, это на роду —  
нам вглядываться в свет и тени.  
Цветным пятном в Твоем саду  
мы будем в пору воскресенья.

Наверное, не жизнь, не смерть,  
а что-то третье есть такое.  
За то, что мы любили здесь,  
нас поведут в кино дневное.



И журавли, как связка оригами,  
и в голове — осенний тарарам,  
и синие кусты вниз головами  
стоят в холодной пойме по утрам.

Смешной фотограф с палкою штатива  
охотником в сухой траве залёг,  
лишь светится сквозь нитки паутины  
от камеры багровый уголёк.

Заснять бы на цветную фотоплёнку  
пышно-багряной осени уход,  
когда вдруг сердце падает в воронку  
холодную-холодную, как лёд.

\* \* \*

В шестнадцать юных лет глушили мы вино,  
курили «Флуераш», чуть сладкое «Руно»  
и «Невечерней» прочищали бронхи.  
Шестнадцать лет спустя окно глядит в окно,  
и некому сказать: «Зажги торшер! Темно!» —  
да и своя душа в такую ночь — потёмки.

На западе в окне горит одна звезда,  
кивает на костяк оконного креста  
и на китайские сухие розы.  
Лишь слышно: в темноте грохочут поезда.  
И говорит звезда, что скоро нам туда,  
куда тянут во тьму седые паровозы.

По улицам пустым в отеческой глуши  
уходят на вокзал поэты-алкаши,  
уносят в рюкзаках издержки слога.  
И трудно оценить былую жизнь  
отсюда с точки зрения итога.

С ума сойти туда, где чисто и светло.  
И мы сошли с него: хорошего всего  
заради, — как за водкой на стоянку.  
Поэтому, когда приходит Рождество  
и накрывают стол, садятся за него  
все приглашённые на праздничную пьянку.